

ТЭФФИ

Ведьма



Надежда Тэффи

Сердце

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172813

Ведьма: Эксмо; М.: 2007

ISBN 5-699-20104-4

Надежда Тэффи

Сердце

* * *

Идти пришлось болотом восемь верст.

Можно было и в объезд, да круг больно большой, и лошадей в деревне не достать – все в поле работали.

Вот и пошли болотом.

Тропочка вилась узенькая, с кочки на кочку, и то в самом начале, а потом сплошь до монастыря шли мостками, скользкими, нескладными, связанными из двух бревнышек, либо прямо из палок, хлюпающих и мокрых.

Трава кругом была яркая, ядовито-зеленая и ровная, будто подстриженный газон английского парка. Тонкие березки-недородыши белели, зыбкотелые, робкие и нетронутые. Так и чувствовалось, что никто никогда не примет ядовитую травку и не согнет тонких прутиков. По болоту монастырскому ни проходу, ни проезду не было: летом не высыхало и зимой не промерзало.

Шли гуськом. Если бы встретили кого, так и разминуться трудно: узки были скользкие жердочки.

Впереди шла Федосья-рыбачка, баба востроносая, востроглазая, с узкой улыбкой чернозубого рта и бледнеющими

от волнения злыми ноздрями.

Очень смешна была на ней опереточная кличка – «рыбачка». Но ей досталась откуда-то по наследству драная сеть, при посредстве которой удавалось иногда вытянуть пару-другую лещей да язей на пропой к празднику.

Деревенцы завидовали Федосье, считали ее больно дошлой и вывертливой, чуть ли не ведьмой, и под пьяную руку грозили поджечь. Все из-за сети.

Федосья шла, легко переступая поджарыми босыми ногами, с сухой, как у скаковой лошади, щиколоткой, и вертела по-птичьи головой.

За Федосьей, спотыкаясь и проваливаясь, шел Медикус, толстогубый студент в ситцевой рубаше навывпуск, с болтавшимся из кармана желтым шнуром от портсигара.

За Медикусом – учитель Полосов, зеленый, хандристый, сам болотистый.

Помещица Лыкова и артистка Леля Рахатова шли почти рядом, держась друг за друга.

Сначала они повизгивали, скользя и качаясь на ногах, но потом, не то увидев, что это не заинтересовало кавалеров, не то просто наладившись идти, уже не обращали внимания на дорогу и перешептывались, смеясь.

Обеим нравился Медикус. Раньше не нравился, и взяли его с собою на богомолье именно потому, что он простоватый и стесняться перед ним нечего.

Но теперь, на болоте, вдруг понравился. И обе, скрывая

друг от друга это неожиданное обстоятельство, нервно смеялись и вышучивали его. Главной темой служил желтый хвостик от портсигара.

Медикус изредка оборачивался, чувствуя, что этот тихий, порывистый смешок имеет к нему какое-то отношение, и не знал, обижаться ему или быть польщенным.

А они, видя его толстое, розовое лицо, с блаженно-распаленным ртом, подталкивали друг друга и смеялись щекотным смехом.

Дорога становилась все труднее. Ноги устали от напряженно-осторожных шагов и ныли и дрожали в коленях.

Зеленый учитель неожиданно присел и запрыгал на одном месте. Мостки погнулись, и, казалось, все болото тихо, пружинно закачалось.

– Что вы? Полосов! Перестаньте!

Стало жутко. Почувствовалась спрятанная под зеленым бархатным ковром липкая, тягучая, трясинная смерть.

Но ярко и весело было кругом, и смеялась зелень, заштрихованная белыми палочками березок, и золотился воздух быстрыми точками – мошками.

Тихий гул колыхался над болотом. Словно оно само все гудело все яснее, все громче.

– И что это за гул? – спросила Лыкова.

– Верно, здесь какой-нибудь город когда-нибудь провалился, и вот и звонят колокола, – сказал, приостановившись, учитель, а потом, словно сконфузившись, проямлил:

– Это уж всегда у нас такие разные легенды... – Повернула Федосья птичий нос:

– С монастырю звонят.

– Это монахи, – распялил рот Медикус, – чтобы, если кто в болоте тонуть начнет, так чтобы спасся.

– Вы думаете, услышит звон и тонуть перестанет? – съязвил учитель.

– С монастырю звонят, – повторила Федосья. – К вечерне. А только место здесь такое неладное, что ни за что не разберешь, откуда гудет. Тут одна баба шла да платок обронила, нагнулась поднять, а шишкун ее возьми да круг себя оберни.

– Кто?

– Да, этот... болотный-то. Подняла, значит, голову не с той стороны, с какой опустила. И пошла наша баба по болоту крутить. То вперед пойдет, то назад повернет. И нет на ем ни приметины, ни отметины. И гудет кругом. Шишкун, значит, благовест ловит да в трясину топит, чтобы, значит, православную душу в монастырь не пустить. Так до того баба намучилась, что не то что сама, а платок на ей шерстяной был, так и тот поседел. Вот как! Не произнеть!

– Га-га-га! – развеселился Медикус. – Ай да Федосья! А что, скажи, у вас в деревне все врут али только дуры?

Федосья повернулась, обшарила юркими глазками все лица, ища сочувствия, и, не найдя, ослабилась притворно-весело:

– За что купила, за то продаю.

Артистка Рахатова вдруг замедлила шаг, отстала, закрыла глаза руками и повернулась несколько раз на месте. Прислушалась. Ровно гудело кругом болото и будто колебалось под ногами. Жутко стало.

«Теперь сюда идти», – подумала она, повернулась и открыла глаза.

Но мостки были пусты. Она ошиблась. И повернуться стало страшно, – вдруг никого нет.

– Ау! – крикнула.

За спиной громко загоготал Медикус.

– Га-га-га! Полно притворяться! Вы прекрасно знали, что мы здесь.

– Надоело болото. Уж прийти бы скорей! – Монастырские постройки вынырнули как-то сразу, даже странно было, – неужто могли куцые березки укрыть их из глаз.

Пусто было. Монахи ушли в церковь. У белой, яркой стены сидел слепой с деревянной чашкой в руках. Услышав шаги, закланялся, загнусавил безнадежно.

– Притворяется, – сказала Лыкова.

Медикус присел, заглянул слепому в глаза и отчеканил какое-то латинское слово.

А артистка Рахатова медленно повела головой и продекламировала:

– Какая красота! Этот нищий, – это такое яркое колоритное пятно!

И словно пояснила другим тоном:

– У меня бывал зимой художник Гринбаум. Очень талантливый.

Учитель бросил медяк в чашку. Федосья позавидовала, покачала головой и зашептала:

– Эти слепые очень даже опасный народ. Они как скопом соберутся, больших могут преступлений наделать.

В углу двора, у монастырской кухни, два широкоплечих монаха и мужик в картузе свежевали огромного, положенного на широкую доску, сома. Мужик рубил рыбу широким ножом, один монах держал ее уцепленным за нос крюком, а другой смотрел и крикал при каждом взмахе ножа.

Потом взял ведро и окатил водой перерубленную, с отвалившейся головой рыбу. И вдруг что-то дрогнуло в одном из средних кусков; дрогнуло, толкнуло, и вся рыба ответила на толчок так, что даже отрубленный хвост ее двинулся.

– Это сердце сокращается, – сказал Медикус. Помещица Лыкова взвизгнула и побежала прочь. Монахи неодобрительно посмотрели ей вслед.

Вечер провели очень мило.

Сидели на каменной ступеньке у монастырской гостиницы. Разговаривали.

Рыбачка Федосья была тут же, но, из уважения к господам, примостилась пониже, на бревнышке.

Сначала рассказывали всякую ерунду про монастыри и про монахов. Затем, когда зеленый учитель неожиданно промямлил какой-то неприличный анекдот, разговор сразу по-

катился лихой и свободный, точно выехал на большую, наезженную дорогу, – только пыль столбом.

Прошел к амбару толстый монах, гремя огромными ключами без бородок.

– Говеть приехали?

Это вышло уже совсем весело. От смеха Медикус, как бык, замотал опущенной головой.

– А что ж, господа, – сказал Полосов. – В монастыре интересно говеть. Будут нас исповедовать по монашескому требнику. Там у них такие грехи, какие нам и во сне не снились. Ей-богу, прелюбопытно.

Артистка Рахатова решила, что будет говеть. Федосья одобрила. Утром к исповеди, за обедней причаститься – и готово.

Опять принялись за анекдоты.

Лыкова и Рахатова прижались друг к другу и ежились, и все притворялись, что анекдоты для них только смешны и только для смеху и рассказываются.

Рахатова вытягивала ноги, чтобы дотронуться до развалившегося на ступеньках Медикуса.

Заставляли рассказывать Лыкову.

– Должна, должна! Помните, что мы в монастыре; здесь устав строгий – все должны равно трудиться.

– Жаль, что нельзя петь, – сказала Рахатова и чуть слышно пропела:

И стра-астно, и нэ-эжно...

И тут же вспомнила, что она – артистка и обиделась, что Медикус, в сущности, ничуть не ухаживает за ней.

– Спать пора.

– Пора, пора, – затараторила Федосья. – Завтра-то не добудиться будет.

Маленькое окошечко в толстой каменной стене было открыто всю ночь, и долго Лыкова и Рахатова слышали шепот Федосьи, прерываемый хриплым басом:

– Так-то, так-то, батюшка. Разные мощи бывают. И под спудом бывают, и под раскрытием бывают. А то и опять под спуд уйдут. Чудеса Твои, Господи, не произ-несть!..

И трудно было заснуть от этого шепота, и от усталости, и от тысячи золотых искр – болотных мошек, которые кружились столбом над ядовитой зеленью, как только закроешь глаза.

Вставать было тяжело. Все тело ныло и болело.

Мужчины еще спали.

Лыкова, Рахатова и Федосья пошли в церковь по мокрой утренней траве.

Прошли мимо вчерашней доски, где рубили рыбу. Чешуя и плавники еще валялись неприбранные, и монастырский петух сердито клевал их.

В церкви жались к стене четыре деревенских девки с испуганно-набожными лицами, и суетился около аналоя очень старый, с прозеленевшей сединой, монашек в линялой, побуревшей ряске.

– Вот она исповедаться хочет, – сказала Лыкова про Рахатову.

Монашек засуетился еще больше, словно растерялся.

– Вы, верно, хотите, чтобы вас сам настоятель исповедывал? – зашептал он.

– Нет, нет, нам все равно.

Монашек замялся, замучился.

– Нет, вы, верно, хотите, чтобы настоятель...

– Это он не смеет... не смеет... – зашептала Федосья.

– Нет, я хочу, чтобы вы, – решительно сказала Рахатова.

Ей уже надоела эта затея.

Монашек заспешил, заспотыкался, пошел к ширме.

«Сейчас начнется занятное», – думала Рахатова, видя, как монашек развертывает требник.

Но он все медлил, все волновался и, видя, что Рахатова смотрит в книгу, прикрыл листы дрожащей, скрюченной рукой.

– Слушаетесь ли вы старших?

«Он меня принимает за маленькую девочку!» – подумала Рахатова и тут же стала представлять себе, как потом можно будет все это смешно и забавно рассказывать.

Машинально отвечала на редкие, робкие вопросы старичка, все закрывавшего и прятавшего от нее слова требника.

«Закрывает! От меня закрывает! У него от старости мозги совсем уже размякли. Меня бережет, меня!»

– Особых грехов нет?

– Нет!

Он молчал, и она посмотрела на него и тоже затихла.

Она увидела такие счастливые, такие ясные глаза, что они словно дрожали от своего света, как дрожат слишком ясные звезды, изливаясь лучами.

Ничего не видно было, кроме этих глаз. Чуть намечалась, как в тумане, угадывалась прозеленевшая старостью седина жиденькой бороденки и побуревшая ветхая ткань клобука.

И вдруг дрогнуло все лицо его, и залучилось тонкими морщинками, и улыбнулось детской радостью все, – сначала глаза, потом впалые, обтянутые высохшей кожей, щеки и сморщенный рот. И рука задрожала сильнее и мельче.

– Ну и слава богу, что нету! И слава богу!

Он весь трепетал; он весь был, как большое отрубленное сердце, на которое упала капля живой воды, и оно дрогнуло, и дрогнули от него мертвые, отрубленные куски.

– Слава богу! – Рахатова закрыла глаза.

«Что же это? – спрашивала она свою сладкую тоску. – Неужели я заплачу? Да что же это? Нет... Это просто от усталости. Истерика, истерика, истерика!»

Назад ехали в крестьянской телеге.

Медикус отнял у мужика вожжи, кричал и ухал на лошадь, которая отмахивалась от него хвостом. Полосов спал. Федосья осуждала монастырские порядки.

– И очень плохой монастырь. Монахи с табачищем так и ходят, так и сосут. На голове клобук, а под носом табак! Пря-

мо не произнестъ! На огороды тридцать баб работать нагна-
ли, а сами и не ворохнутся. Не произнестъ! Распуценный
монастырь. На прошлой неделе двух монахов изо рва пьяных
вытащили, еле откачали. Не произнестъ!

Рахатова и Лыкова молчали.